

В школе нас этому

Общая газ. - 1995 -
10-16 авг. - с. 10.

не учили

Владимир ПРИХОДЬКО



ДНАЖДЫ перечитав «Видение мурзы» и встречая потом очереда своего гостя, Бунин декламировал: «На темно-голубом эфире золотая плавала луна...» Гость становился близким другом, если мог продолжить.

Могут многие.

Для большинства Державин — лишь эпиграф к Пушкину. Помню, как стоящий в изгнании рояль Дмитрий Журавлев начинает читать «Осень»: «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?» Опускает голову, сухо, существенно произносит: «Державин». Это очень красиво, но дальше — начинается прекрасное: «Октябрь уж наступил — уж роща отряхает...» Читать Державина дальше эпиграфов к Пушкину не хочется. Не хочется споткнуться о волочатый по земле подол богоподобной царевны Киргиз-Кайсацкия орды; о то, что произносить надо, ломая язык, чтоб вышло в рифму (не «растёт», а «растет»), о высокопарность: «О Росс! О род великодушный!»; о головоломные инверсии, о загадочные намеки, вникать в которые недосуг. Державина после его смерти, скоро два века, не столько читают, сколько чтут. На чтение — все не хватает времени.

У великодержавного певца есть, между тем, и биография, и постбиография, любопытная сама по себе. В 1916-м Ходасевич назвал его «бессмертным и домовитым». Спустя несколько лет в Казани большевики снаесли памятник Державину (как монархисту). Двухсотлетие его вполне официально отмечалось в июле 1943-го — бедный, но значительный юбилей: поминавший Державина Антокольский цитировал «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества». Попали его строки и в «Архипелаг ГУЛАГ»: там о советском кривосудии говорится державинскими стихами 1789 года: «Пристрастный суд разбоя злее, — судьи враги, где спит закон: пред вами гражданина шея протянута без оборон». Это свойство нашей поэзии — в новые времена обростать добавками смысла. В действительности строки о судьях связаны с детскими впечатлениями поэта, когда его мать, вдова, приходила с жалобой к чиновникам, а те без взятки и слушать ее не желали...

Он был человеком природной, врожденной героической складки. Несвобода претрела ему. Он всю жизнь стремился стать независимым. Его хрестоматийная строка «Един есть Бог, един Державин» даже в ироническом контексте говорит об уровне претензий.

Еще недавно портреты писателей подходили у нас на святые лики. Ни-ни тебе написать, что у Баратынского запой. Или что у Блока люэс. Пушкин о Державине: «Из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем». Что хотел утаить от иностранцев Пушкин? Известно, как решил он для себя тему «гений и злодейство»: Сальери, отравивший Моцарта, вспоминает, в попытке самооправдания, легенду о Микеланджело, распявшем человека, чтоб реальней изобразить муки Христовы. Не возвращался ли Пушкин к тем же нравственным вопросам, когда опубликовал в «Истории Пугачева» рассказ Дмитриева, уверявшего, что молодой Державин, вешая бунтовщиков под Саратовом, руководствовался более «поэтическим любопытством», нежели «настоящей необходимостью»?

Представления о гении и злодействе были в державинскую эпоху не совсем такими, какими стали в пушкинском веке. И все же — правдив или лжив рассказ Дмитриева — усмирять недовольных соотечественников не нравилось Державину: «Но ты, о зверских душ забав! Убийство! — я не лущу тобой... Злодейства малого мне мало, большого делать не хочу...» Значит, надо творить добро. Открывая больницу для немущих, Державин сказал: «Я вижу, благочестивое собрание! Сила человеколюбия проникает сердца ваши; сострадательное умиление к ближнему написано на очах ваших». У него имелось стремление «любить весь мир ...по добродетели священной». Флоренский так трактовал душевные борения Гамлета: уже не язычник, еще не христианин. Это очень похоже на Державина. Впрочем, и на весь наш XVIII век. Может ли поэт быть льстецом? Ответ Пушкина известен: «Нет, я

не льстец...» «А где поэты не льстецы?» — вопросом на вопрос отвечает Державин.

В его наследии мало что поймешь, если затушевать факт, что ему, с его буйным характером, «на поприще сей жизни склизком» слишком часто приходилось, карабкаясь вверх, лстыть сильным мира сего (к такой ретуши склонны все пишущие о нем). Несмотря на упрямство, в Державине хватало осторожности и хитрости: уникальна его способность под видом похвал «истину царям с улыбкой говорить», наставлять на истинный путь, укорять и бранить, уводить в сторону от злодеяния. Понимая, что «всякий человек есть ложь» (цитата из Псалтыри в «Фелице»), сам-то он не хотел быть «всяким»: «Я царь — я раб — я червь — я Бог!» Уже на склоне лет яростно свел счеты с Правдой: «С тобой я в чистых дураках!» Минутное раздражение или окончательные итоги? Нельзя ответить односложно...

Сколь многое и разное сочеталось в нем и в его одах! Недавно промелькнула вынесенная в газетный заголовок строка Кирсанова: «Война не вмещается в оду...» Державин бы возразил: в оду вмещается все! Он полон разношерстных мыслей — от государственных до бытовых, не стыдящихся своей беспорядочности: «Блестят и жучки в епанечках». Вельможа — он даже на свою на дворовую псину надел парчовую шубку! Живет одновременно и в тесном уютном мирке: «Тут кофе два глотка; храпну минут пяток» — и в космосе, где «светил возженных миллионы в неизмеримости текут». Рачительный хозяин, всякий раз избирающий тему важную, причастную вечности, — и неисправимый мот, швыряющий слова, как червонцы: сказать надо много, он торопится. Язык Державина нечист, про грамматику лучше и не вспоминать. Зато какая смелость! Читатель Державина непременно заметит, что, по отношению к более позднему, его язык полемичен: смотрите, мол, сколько всего уносит «река времен», сколько всего пропадает, сколько уже пропало! Вероятно, очищение нашего литературного языка было не только великим переломом, но и неким ущербом: иначе — отчете, после Батюшкова и Жуковского, так архаичен потрясенный Державин Баратынский; почему столь пестры Клюев и Ремизов? У Державина чередуются гармоничная плавность и резкая какафония. Он легок — и тяжел: Гумилев изумлялся фонетикой Некрасова, «продолжающей Державина через голову Пушкина». Иногда он красочно-неприличен. Даже разочаровавшийся восторженного Дельвига прозаический вопрос, заданный лицейскому швейцару: «Где, братец, здесь нужник?», ныне воспринимается не как житейская подробность, а как черта державинского поэтического стиля.

Он был ослеплен блеском имперской славы — и втайне мечтал о грядущих царях, которые «будут мерзеть тиранством». Служил державе верою и правдой — и не сознавал, что творчеством своим способствует разрушению крепостнической монархии. Он примерил множество масок — и никто не сможет обозначить его амплуа. Его вольно обвинить в чем угодно — но он в русской поэзии победитель несравненный, абсолютный.

История любит парадоксы. Нежданно державинская державность выявилась в «отщепенца» Бродского, которого разлагающаяся империя выкинула вон: его «Бей, барабан, и военная флейта громко свисти на манер снегиря» — лучший и истинный памятник маршалу Жукову, российскому Суворову XX века. Но разве и Державин не был отщепенцем? Воспеваемое им государство однажды грубо показало, что не нуждается в нем. Это привело его к Званке — первой в русской лирике «башне из слоновой кости». Благодаря способности выражать себя на любом материале, Державин стал «петь любовь» не в двадцать и даже не в тридцать с хвостиком — на седьмом десятке выпустил «Анакреонтические песни!» В «Жизни Званской» он выглядит героем-гименом, главой семьи-автономии, отчасти реальной, отчасти воображаемой. Это — не просто дар, это подвиг поэта, его tour de force.

За три дня до смерти «старик Державин» начал оду «На тленность» и написал первое восьмистишие. За pessimистическим тезисом неизбежно должен был последовать антитезис, и, вполне вероятно, стихотворение стало бы новым подвигом Державина — в стремлении одолеть тлен. Этот tour de force, пресеченный агонией, — достойный венец судьбы поэта.